

Элен Гремийон
Кто-то умер от любви

Hélène Grémillon
Le Confident

Элен Гремийон
Кто-то умер от любви
роман

Перевод с французского
Ирины Волевич



издательство **аст**

Москва

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44
Г80

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Гремийон, Элен

Г80 Кто-то умер от любви : роман / Элен ГРЕМИЙОН ; пер. с франц. И. Волевич. — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 288 с.

ISBN 978-5-17-077821-8 (ООО "Издательство АСТ")

Среди писем с соболезнованиями по поводу смерти матери Камилла получает длинное послание без подписи, где некий немолодой человек пишет о своем детстве и о девушке, в которую он был влюблен незадолго до Второй мировой войны. С этого дня письма от загадочного анонима начинают приходить каждую неделю, и история, которая в них рассказывается, становится все более захватывающей и драматичной. Решив, что эти письма попадают к ней по ошибке, Камилла не сразу понимает, что они адресованы именно ей и имеют прямое к ней отношение. Она начинает расследование, и ошеломляющие открытия следуют одно за другим.

“Кто-то умер от любви” — захватывающий роман в романе. Действие из 1975 года постоянно переносится в предвоенное и военное время, когда на фоне планетарной трагедии разыгрывается трагедия любви, не останавливающейся ни перед чем. Эта дебютная книга 32-летней француженки Элен Гремийон сразу стала бестселлером и удостоилась пяти литературных наград. Она переведена на восемнадцать языков.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44

ISBN 978-5-17-077821-8 (ООО "Издательство АСТ")

- © Plon-JC Lattès, 2010
- © И. Волевич, перевод на русский язык, 2013
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013
- © ООО "Издательство Астрель", 2013
Издательство CORPUS ®

Посвящается Жюльену

Облекается прошлое
в железные латы
и свой слух затворяет
дымом облачной ваты.
Его тайна веками — за замкáми¹.

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА
Предчувствие

1 Перевод Н. Ванханен. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Париж, 1975

Однажды мне пришло письмо, длинное письмо без обратного адреса. Это было целое событие, — жизнь не баловала меня обильной корреспонденцией. Мой почтовый ящик только и выдавал, что рекламки типа “насладитесь-теплым-морем” или “насладитесь-белым-снегом”, и я нечасто его открывала. Максимум — раз в неделю, а в периоды уныния — раза два, в слабой надежде, что его содержимое — так же как телефонные звонки, поездки в метро и счет до десяти с закрытыми глазами — вдруг перевернет всю мою жизнь.

А потом умерла моя мать. Тут я и получила по полной программе: смерть матери вполне может перевернуть жизнь, трудно даже придумать что-нибудь более подходящее.

Я никогда прежде не читала писем с соболезнованиями. Когда умер отец, мать избавила меня от этой печальной обязанности. Только показала мне приглашение на церемонию вручения медали. Никогда не забуду эту гадостную процедуру: за три дня до этого мне исполнилось тринадцать лет, и вот какой-то важный тип пожимает мне руку — с улыбкой, похожей скорее на свирепую гримасу, поскольку физиономия у него перекошена, а уж когда он со мной заговаривает, то вообще караул.

— Мы бесконечно сожалеем, что смерть оборвала эту героическую жизнь. Ибо ваш отец, мадемуазель, был мужественным человеком.

— Вы достаиваете этой дежурной фразой всех сироток вашей войны? Думаете, гордость излечит их от горя? Очень, конечно, трогательно с вашей стороны, но меня оставьте в покое, я горевать не собираюсь. Кроме того, мой отец вовсе не был мужественным. Даже те литры спиртного, которые он ежедневно вливал в себя, не добавляли ему храбрости. Поэтому давайте договоримся: вы его спутали с кем-то другим — и покончим с этой комедией.

— Мадемуазель Вернер, я все же рискну вас удивить, повторив, что речь идет именно о сержанте Вернере, вашем отце. Он добровольно вызвался первым пройти через поле, зная, что оно заминировано, и тем самым спас своих боевых товарищей. Хотите вы того или нет, но ваш отец совершил подвиг, и вы должны принять от нас эту медаль.

— Мой отец не совершал никакого подвига, дурак ты косорылый, он просто покончил с собой, и вы обязаны сообщить об этом моей матери. Я не желаю нести это бремя одна, мне хочется вспоминать об отце вместе с матерью, и с Пьером тоже. Самоубийство отца не должно оставаться для них тайной.

Я часто выдумываю подобные разговоры, чтобы облечь свои мысли в слова хотя бы задним числом, — мне так легче. По правде говоря, я не ходила на ту церемонию посмертного награждения героев войны в Индокитае, и на самом деле всего один раз сказала вслух, а не мысленно, что мой отец покончил с собой,

причем объявила это матери на нашей кухне однажды в субботу.

По субботам мы готовили картофель фри, и я помогала маме. Прежде ей помогал отец. Ему нравилось чистить картошку, а мне нравилось смотреть, как он это делает. Он был так же немногословен за этим занятием, как и за другими, но тут, по крайней мере, от него исходили хоть какие-то звуки, и это радовало. Ты знаешь, что я тебя люблю, Камилла. Да, я всегда вкладывала в каждое движение его ножа одни и те же слова: ты знаешь, что я тебя люблю, Камилла.

Однако в ту субботу из-под моего ножа выползли совсем другие слова: “Папа покончил с собой; ты ведь знаешь, мама, что он покончил с собой?” Фритюрница грохнулась на пол, разбив кафель, и масло разлилось вокруг застывших ног матери. Напрасно я потом яростно оттирала плитки, наши подошвы еще много дней скользили по ним, заставляя звучать в ушах мои безжалостные слова: “Папа покончил с собой; ты ведь знаешь, мама, что он покончил с собой?” Стараясь их заглушить, мы с Пьером говорили громче обычного — мне кажется, нам хотелось заглушить еще и молчание мамы, которая с той субботы почти перестала разговаривать.

Кафельные плитки в кухне так и остались расколотыми; я осознала это лишь на прошлой неделе, показывая мамин дом супружеской паре — потенциальным покупателям. Наверное, эти потенциальные покупатели, если они превратятся в покупателей реальных, будут при каждом взгляде на длинную трещину в полу осуждать небрежность бывших хозяев; замена плиток

станет их первоочередной задачей при ремонте дома, они впрягутся в эту работу с радостью, а значит, мое жестокое разоблачение пойдет хоть кому-то на пользу. Я во что бы то ни стало должна продать мамин дом этим людям или другим, наплевать кому именно, лишь бы только купили. Мне он не нужен, да и Пьеру тоже: место, где любая вещь напоминает о мертвых, не годится для житья.

Когда мама вернулась с церемонии, она показала мне медаль. И рассказала, что тот тип, который вручил ей награду, был какой-то косорылый; она неумело избразила его перекошенную физиономию, попытавшись при этом засмеяться. Со дня папиной смерти она только это и могла — пытаться. Потом она вложила медаль мне в руки, крепко сжала их со словами: “Она принадлежит тебе”, — и тут же залилась слезами — что-что, а это ей удавалось отлично. Ее слезы падали на мои руки, и я резко отдернула их: невыносимо было ощущать ее горе на своей коже.

Я прочла первые письма с соболезнованиями, и мне на руки закапали мои собственные слезы, напомнив те давние, мамины; я дала им волю, желая увидеть, куда же утекли слезы той, которую я так любила. Я прекрасно знала, о чем говорится в этих письмах: о том, что мама была необыкновенной женщиной, что потеря близкого человека всегда ужасна, что нет более тяжелого горя, чем смерть матери, и так далее и тому подобное, — даже и читать не стоило. Поэтому я каждый вечер раскладывала письма в два пакета: в правый — где на конвертах значился адрес отправителя, в левый —

где его не было; доставая послание из левого, я первым делом смотрела на подпись, чтобы узнать, кто мне написал и кого следует благодарить. В конечном счете я выразила признательность очень немногим, но никто на меня не обиделся. Смерть извиняет любые отклонения от правил вежливости.

Первое письмо, полученное мной от Луи, лежало в “безымянной” стопке. Оно привлекло мое внимание еще до того, как я вскрыла конверт, потому что было намного толще и тяжелей всех остальных. Да и по размеру не походило на стандартное письмо с соболезнованиями.

В конверте лежала пачка рукописных листков без подписи.

“

Анни присутствовала в моей жизни всегда: мне было два года, когда она родилась, два года без нескольких дней. Мы жили в деревне (назову ее Н.), и я встречал Анни на каждом шагу, даже искать не приходилось — в школе, на прогулках, на мессе.

Ох уж эта месса — просто мучение, одна и та же неизменная тягомотина, которую мне приходилось терпеть, сидя между отцом и матерью. Места в церкви соответствовали темпераменту юных прихожан: самые примерные находились под опекой старших братьев и сестер, самые буйные — под родительским надзором. В этом церковном распорядке, строго соблюдаемом всей деревней, Анни выглядела белой вороной: бедняжка была единственным ребенком в семье. Я говорю “бедняжка”, потому что она без конца сетовала на это. Ее отец и мать были уже очень немолоды, когда она появилась на свет, и ее рождение стало для них таким чудом, что они каждый день по любому поводу гордо возглашали: “Мы втроем...”, тогда как сама Анни рада была бы услышать “вчетвером”, “впятером”.

Что касается меня, то сегодня я считаю скуку самой благодатной почвой для развития воображения, зато в те времена, конечно, я просто считал мессу наиболее благодатнейшей почвой для скуки. Никогда бы не подумал, что в церкви со мной может случиться

что-то неординарное. Не думал — до того самого воскресенья.

Едва зазвучала входная, как на меня накатила дурнота. Мне чудилось, что все вокруг качается — алтарь, орган, Иисус на кресте.

— Перестань так надрывно вздыхать, Луи, из-за тебя ничего не слышно!

Строгое замечание матери вкупе с этим цепким полуобмороком вызвало в памяти слова, которые папа как-то вечером шепнул ей: “Преподобный Фантен испустил последний вздох”.

Отец был врачом и потому знал все формулировки, в каких объявляют о кончине. Сообщая на ухо матери о чьей-нибудь смерти, он выбирал наиболее подходящую — “отдал концы”, “скоропостижно скончался”, “испустил дух”, “мирно упокоился”. Последнее выражение нравилось мне больше других: я воображал, что оно приносит меньше горя.

А вдруг я тоже сейчас умираю?

Откуда человеку известно, что значит умирать, пока он по-настоящему не умер?!

А вдруг мой следующий вздох станет последним? В ужасе я затаил дыхание и, повернувшись к статуе святого Роха, мысленно стал молиться ему: он ведь исцелял умиравших от чумы, значит, может спасти и меня.

Настало следующее воскресенье, а я даже думать боялся о посещении мессы — я был совершенно уверен, что на сей раз смерть меня не обойдет. Однако, сев на скамью, которую раз в неделю занимало наше семейство, я обнаружил, что не чувствую

дурноты, внушавшей мне такой страх. Напротив, мне было хорошо, я с удовольствием вдыхал запах дерева, свойственный этой церкви, и все прочно стояло на своих местах. Мой взгляд снова нашел свою точку опоры — он был направлен на Анни, на ее волосы, скрывавшие от меня ее лицо. И вдруг я все понял: на прошлой неделе она пропустила службу, и именно ее отсутствие повергло меня в то кошмарное состояние. Наверняка она лежала дома с холодным полотенцем на лбу или занималась живописью, избегая резких движений. Анни часто мучили жестокие приступы астмы, чему все мы завидовали, так как они избавляли ее от кучи неприятных обязанностей. Ее фигурка, еще сотрясаемая иногда легким кашлем, возвратила всему окружающему прежнюю реальность и основательность. Она запела — вообще-то веселой по натуре она не была, и я всегда удивлялся тому, как она, восторженно оживляясь при первых же звуках органа. Тогда я еще не понимал, что пение подобно смеху: в него можно вложить все, даже печаль.

Большинство людей влюбляются, когда видят свой “предмет”, меня же любовь коварно застигла врасплох: Анни вошла в мою жизнь, когда ее не оказалось в поле моего зрения. В тот год мне исполнилось двенадцать лет. Она была на два года младше — на два года без нескольких дней.

Поначалу я любил ее, как любят дети — на глазах у всех. Мысль о встречах наедине даже не приходила мне в голову, я еще не достиг возраста, когда хочется разговаривать. Любил просто чтобы любить, а не для того, чтобы стать любимым. Мне

достаточно было пройти мимо Анни, и я уже чувствовал себя счастливым. Я таскал у нее ленты, зная, что она побежит за мной вдогонку, с бесстрастным видом вырвет их у меня из рук и так же бесстрастно повернется и уйдет. Самое бесстрастное лицо на свете — это лицо обиженной девочки. Она неловко вплетала в волосы эти узенькие полоски материи — именно они первыми и натолкнули меня на мысль о куклах в мамином магазине.

Моя мать держала в деревне галантерейную лавку. После уроков мы с Анни шли туда — я к своей матери, она — к своей, та просиживала в этой лавке полжизни, отдавая вторую половину шитью. Однажды, когда Анни проходила мимо полки с куклами, меня внезапно потрясло ее сходство с ними. Кроме таких же ленточек в волосах у нее было, как и у них, неестественно белое, прозрачное личико. Тут мое воображение разыгралось вовсю, и я осознал, что до сих пор видел ее кожу только на лице, шее, руках и ногах, остальное скрывала одежда. Другими словами, в точности как у этих фарфоровых красоток! Иногда, наведываясь в кабинет к отцу и проходя через приемную, я видел там Анни. Она всегда приходила на прием одна, без родителей, и выглядела совсем крошечной в широком черном кресле. На ее лице горели яркие пятна румянца — следствие приступов астмы, — и никогда ее сходство с куклами так не бросалось в глаза, как в эти минуты.

И наоборот, фарфоровые куклы наводили меня на мысли об Анни, и я их воровал. Но, притаив потом к себе в комнату, я неизменно пере-

живал тяжкое разочарование: их волосы оказывались то слишком курчавыми, то слишком гладкими, глаза — слишком круглыми и оловянно-зелеными, и ни у одной не было таких длинных ресниц, как у Анни: задумываясь, она приподнимала их кончиками пальцев. Эти куклы, как, впрочем, и живые люди, никак не могли быть чьей-нибудь точной копией, но я все равно злился на них, уносил на озеро, привязывал камни к ногам и безо всякого сожаления смотрел, как они идут ко дну, уже лелея мысль завладеть следующей, в надежде, что она окажется более похожей.

Озеро было глубокое, и купаться разрешалось только в нескольких безопасных местах.

В тот год центром вселенной были мы с Анни. Вокруг происходило много разных событий, но мне все было глубоко безразлично. В Германии Гитлер стал рейхсканцлером, а нацистская партия — единственной политической партией. Брехт и Эйнштейн эмигрировали из страны, где уже строился Дахау. Ох уж эта наивная детская убежденность, что от Истории можно спрятаться!

”